

А. ДЫМШИЦ



Пушкине, в доме, где А. Н. Толстой жил до отъезда в Москву, влево от прихожей помещалась приемная. Здесь осенью 1937 года мне довелось выслушать ряд соображений Алексея Николаевича

о собственном его творчестве.

Вышло это так: я написал статью о Толстом, небольшой критико-биографический очерк, и приехал к нему, чтобы уточнить некоторые даты и проверить некоторые факты.

Толстому статья понравилась. Он ответил на мои вопросы. А вслед за тем стал живо и взволнованно рассказывать о направлении своей работы над повестью «Хлеб» и над будущим большим трудом — третьим томом эпопеи «Хождения по мукам».

Алексей Николаевич сказал, что наша литература еще не выполнила своей главной задачи — не показала во всем величии, во всей глубине и масштабности образы новых людей, положительных героев, своими подвигами утверждающих правду нового мира.

— Очень многого достиг в этой области писатель, который угас слишком рано, — Фурманов. Это был человек большого ума, шедший верным путем. Его герои и в «Чапаеве» и в «Мятеже» — люди новые, люди коммунистического характера. И при этом они всегда индивидуальны. У Фурманова и в помине нет той массовидности, той обезличенности героя, которая мешает полюбить, как живое лицо, Кожуха в «Железном потоке».

Повесть «Хлеб» я, если так можно выразить, сушил. Подсушивал ее сознательно, — она первоначально выходила слишком красочной, уклонялась в беллетристику... Редакция «Истории гражданской войны», профессор Минц дали мне уйму материала. Все изученное надо было увидеть, все — людей, эпизоды, колорит. Самое главное, надо было представить себе людей — каждого из них как тип.

— Человек, если он — индивидуальность, если он — тип, всегда обладает своим внутренним жестом, своей особой логикой поведения, манеры, речи. Этот жест — именно внутренний жест — надо разгадать, найти, ухватить, — в нем ключ к постижению характера.

— Иные беллетристы, как плохие режиссеры в плохом театре, не всматриваясь, не вдумываясь во внутреннюю механику характера, наделяют своих героев произвольными и лишними жестами. Выходит жестикуляция, иногда эффектная, но всегда пустая.

— Найти внутренний жест своего положительного героя нельзя, не полюбив этого героя. Его не отыщешь путем созерцания и умозрения. Здесь нужно понять и почувствовать.

Повесть «Хлеб» создавалась Толстым в крепкой связи с движением эпопеи «Хождение по мукам» от ее второго тома к третьему.

— В «Хлебе», — говорил Алексей Николаевич, — много такого, что осталось недописанным в книге «Восемнадцатый год». Когда эта книга писалась, от меня ушли, ускользнули важные обстоятельства эпохи, которую я еще

не успел охватить и во всей ее шири и во всем ее содержании. Но «Хлеб» не только покрытие старых долгов, а движение вперед. В этой повести я работал над образами положительных героев, меня волновали образы рабочих, солдат, людей из массы. Я постарался взять их не внешне, не эскизно, а как характеры. В новом томе «Хождения по мукам» я ими займусь еще глубже.

Я твердо убежден, что наша главная задача, наша обязанность — создать фигуры положительных героев революционной эпохи, творцов новой, социалистической государственности. Наши предшественники были во многих отношениях богаче нас, трудно с ними тягаться. Но в одном они нас беднее: не дожили они до нашего сегодня, до наших дел и людей. Мы же свидетели и современники нового, мы греемся у этого яркого огня, мы должны передать его сияние и тепло всему человечеству. Мы должны создать литературу, проникнутую пафосом утверждения жизни, труда, дружбы, литературу, в которой нет места для уныния и скепсиса. Писатель, видите ли, тоже герой современности.

Алексей Николаевич рассуждал увлеченно, четко определяя задачи советской литературы, как он их понимал. Он говорил о Горьком, о том, что надо собрать и издать все написанное Алексеем Максимовичем по вопросам литературы.

— Как и все мы, Алексей Максимович не был застрахован от ошибок, но эти ошибки в делах литературных были мизерны. А на магистральных путях, в вопросах принципиальных он не заблуждался. Горьковская ясность мысли и цели нужна каждому литератору.

...В тридцатых годах Ленинградское отделение издательства «Художественная литература» помещалось на третьем этаже Дома книги.

Медленно двигаясь к выходу по коридору, Алексей Николаевич бросил холодный взгляд на сидевшего на подоконнике высокого и длиннолицего субъекта. Лицо Толстого изобразило предельную безразличность, нижняя губа обвисла.

На площадке я спросил:

— Что с вами, Алексей Николаевич? Кто это?

— Брэммель.

— Что?

— Не что, а кто... Лорд Брэммель.
— Почему Брэммель?
— Почему? Не знаю. Но совершенный Брэммель. Читали вы Барбье д'Оревильи — есть такая книжка о дендизме и лорде Брэммеле?
— Книжку знаю. Но при чем тут этот? И человек, кажется, русский...
— Все равно Брэммель, — прервал Толстой. — Все равно пустое сердце и пустая башка. Ну какая польза от такого России?

Он знал, о ком говорил. И когда назвал фамилию этого продолговатого хлыща — автора эстетских сочинений, в которых дешевые пошлости перемежались с нервической эксцентрикой, я понял, что он был прав. Но не только это запомнилось мне в его словах...

«Какая польза России?» Вот слова, чрезвычайно знаменательные для Толстого, для большого и убежденного патриота.

В другой раз речь зашла о книжке одного довольно известного литератора, произведения и поступки которого вызывали некогда шумные споры. Его новая книга, нарочито сделанная «под переводную», мне очень не понравилась.

— Верно, — заметил Толстой, — это же проститутка. Ни родины у него нет, ни чести. Вот он так и пишет!..

Патриотизм Алексея Николаевича был глубоко осознанным советским патриотизмом. И проявлялся он во всем, вплоть до деталей, до отдельных суждений, брошенных мимоходом.

В этой связи мне вспоминается следующий эпизод. Я подарил Толстому подготовленный мною томик стихотворений Сергея Есенина. В Барвихе, в подмосковном доме Толстого, мне пришлось выслушать несколько интересных замечаний об этой книжке и моем предисловии к ней.

— Вы верно пишете о влиянии Блока на Есенина, именно Блока «Стихов о России», — заметил Алексей Николаевич.

И, отложив в сторону книжку, откинувшись в кресле, он стал вспоминать знаменитый лирический цикл Блока. Он говорил об этих стихах в самых возвышенных выражениях, как о «школе патриотизма», как о «поэзии первой любви к отчизне».

Потом Толстой неожиданно нахмурился: вспомнил стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно...», прочитал на память начало, прочитал конец («Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне») и стал говорить о том, что так любить Россию нам нельзя, что нельзя облекать в одежды поэзии то, что должно быть уничтожено во имя народного счастья.

— Стихи,— сказал он,— неотразимо хороши как поэзия, а мысль в них скверная, отсталая и потому сегодня вредная.

Вспоминая об этом суждении Толстого, я не хочу вдаваться в оценку стихотворения Блока. Мне ясно одно: в этом суждении выразился Алексей Толстой — советский патриот, передовой человек новой России, который не хотел мириться даже с самой талантливой поэтизацией отсталого в прошлом родины, Толстой, который, вернувшись из Старой Руссы, сказал мне о своих встречах с избирателями:

— Очень хорошие там ребята. Особенно хороша молодежь. Я знаю, какой была Россия вчера. А теперь, когда едешь по России, видишь, какой она будет завтра.

* * *

20 января 1938 года я приехал в Москву и с вокзала отправился к Алексею Николаевичу. Вечером в Октябрьском зале Дома Союзов Толстой намеревался читать главы из повести «Хлеб». Мне предстояло сделать вступительный доклад.

Алексея Николаевича я застал в гостинице «Метрополь», в просторном, широченном номере. Не помню, почему Толстой жил тогда в гостинице,— может быть, небольшая городская квартира на улице Горького, близ Белорусского вокзала, не была еще обжита.

Я пришел узнать у Толстого, что именно он будет читать вечером, на сколько времени рассчитать мне вступительное слово. Выяснилось, что Алексей Николаевич не был уверен, что сможет выступить в Октябрьском зале. Неожиданные важные и безотлагательные дела могли помешать ему.

— Вам придется работать за двоих,— сказал Тол-

стой.— Может быть, я еще освобожусь и приеду с опозданием. Ну, а если не приеду, поработаете один.

— Алексей Николаевич! — взмолился я.— Мне этого не вытянуть. Я пропаду! Публике я один решительно не нужен.

— Ничего, ничего. Сдюжите... Я замечаю у вас ораторские успехи.— Толстой рассмеялся.— Делайте доклад по всей форме. И подольше. Я еще, может быть, подъеду.

И Алексей Николаевич, пригласив меня позавтракать, перешел к другим темам.

За завтраком речь пошла о ленинградцах, о писателях Ленинграда. Толстой расспрашивал о наших литературных новостях, говорил о людях, хорошо ему знакомых.

Он спросил о Тынянове и очень тепло и уважительно говорил о нем. Юрий Тынянов интересовал его не только как художник, но и как филолог. Оказалось, что он читал историко-литературные статьи Юрия Николаевича, знает его работу о стихотворном языке.

— Людей такой образованности, как Тынянов, такого проникновенного чувства слова у нас не много. Это очень большой человек.

Ласково и любовно говорил он о стихах Александра Прокофьева.

— Этот простой с виду человек — тончайшая поэтическая душа. Нежнейший лирик. Краски у него отменные, напевы самые что ни на есть пародные. Этот парень еще докажет, что Парнас помещается на Ладогe.

В то утро Алексей Николаевич был очень весело настроен. И хотя день предстоял деловой, он с охотой и с задором говорил о стихах, цитировал на память из Прокофьева, посмеивался, вспоминая отдельные образы:

Выходила тоненькая, тоненькая,
Тоней называлась...

— Вот какая, словно на народной картинке. Чернобровая и в полушалочке... А Громобой? А ворон, птица сурьезная?

Сидит ворон на дубу,
Зрит в подзорную трубу...

Какая у него во всем живопись, какая картинность!

Потом Толстой заговорил о Багрицком — поэте, кото-

рого очень любил. Он цитировал наизусть из «Думы про Опанаса» и высоко отзывался об этой поэме.

— Багрицкий поднялся до эпоса, до эпоса действительно народного. Никто из поэтов не почувствовал так верно, как он, биение сердца Шевченки... Досадно, что до сих пор нет оперы на его либретто. В этой «Думе», драматичнейшей и поэтичнейшей вещи, таятся возможности и для фильма, для монументальной кинопоэмы.

Вскоре Алексей Николаевич заторопился, стал собираться куда-то.

— Ну, смотрите,— сказал он на прощание,— не робейте, если вечером придется действовать одному. Постарайтесь высвободиться. А не смогу, так уж не взыщите!

Увы, вечером в Доме Союзов мне пришлось выступать одному. Поддержали артисты ТЮЗа, показавшие несколько сцен из «Золотого ключика».

...Алексей Николаевич как драматург обладал исключительно тонким пониманием театра, режиссуры, актерского мастерства.

Весной 1930 года, провожая Толстого по Невскому к Дому книги, я спросил его о драме Юрия Олеши «Заговор чувств». Я хотел узнать, видел ли он эту пьесу в Театре имени Вахтангова и что он думает о ней. Алексей Николаевич ничего не сказал о спектакле (я так и не понял, видел ли он его). О пьесе он тоже не отозвался прямо. Но ответ его представляется мне весьма интересным, ибо содержит мысль, важную для понимания одного из «законов» реалистической драматургии.

— Драматургия,— сказал Толстой,— очень хитрая штука. У драматурга всегда соблазн за соблазном: его обступают темы, и он хочет вобрать в пьесу как можно больше тем. Не надо многотемья, нельзя, чтобы побочные темы оказались значительнее, чем тема-стержень. Основа композиции драмы — идея... генеральная... организующая. Нужно ограничение хаоса. А не то получится андреевщина, которая не только оглушает зрителя разными дешевыми схемами, но еще заставляет его метаться от мыслишки к мыслишке.

Несколько лет спустя мне снова пришлось говорить с Толстым на театральные темы.

В Ленинграде, в гостинице «Астория», где он остановился, Алексей Николаевич в узком кругу прочитал свою

пьесу «Чертов мост» — злой и остроумный антифашистский памфлет.

На чтении присутствовал Александр Яковлевич Таиров, который принял эту пьесу к постановке в Камерном театре. Объясняя мне, почему он отдал пьесу именно Таирову, Толстой говорил, что высоко ценит этого мастера, что пьеса-памфлет на зарубежном материале как раз соответствует жанровым возможностям его режиссуры.

— Я вообще, — заметил Толстой, — не принадлежу к драматургам, привязанным к какому-то одному театру. Театры должны быть разными, с различными режиссерскими принципами и исканиями. И драматург может пробовать себя в разных жанрах, подыскивая себе театры, наиболее близкие для сценического решения данной пьесы и данного ее жанра. Привязать себя к определенному театру — значит ограничивать свои поиски одним определенным направлением. А социалистический реализм исключает всякую нивелировку, в том числе театральных стилей и драматургических исканий.

О другой своей пьесе — об историко-революционной драме «Путь к победе» («Поход четырнадцати держав») — А. Н. Толстой говорил, что это пьеса для МХАТа или для театра имени Вахтангова. Последнему он ее и отдал. Помню, что на генеральной репетиции этой пьесы, проходившей в присутствии Б. В. Щукина, пристально наблюдавшего за игрой товарищей, Толстой очень одобрительно отзывался об исполнении ролей артистами И. Раппопортом и Р. Симоновым.

— Симонов играет прежде всего характер, заметьте это, — сказал мне Толстой в одном из антрактов. — Он не ищет сходства во внешних деталях, а идет от внутренней правды образа, не нарушая, конечно, портретной схожести.

О внутренней правде характера говорил Толстой и в связи с исполнением роли Петра Великого в третьем (последнем) варианте его драмы «Петр Первый». Роль эта была поручена в Ленинградском академическом театре имени Пушкина Николаю Константиновичу Черкасову, блестяще сыгравшему перед тем роль царевича Алексея в фильме по сценарию Толстого. Когда начались репетиции, Алексей Николаевич выслушал немало недоуменных вопросов, вызванных тем, что внешние данные Н. К. Чер-

касова казались многим неподходящими для образа Петра. Признаюсь, что и я находился в числе «сомневающих-ся». Толстой же был очень доволен согласием Черкасова.

— Внешние данные ничего не решают, — говорил он. — Актеру нужен характер, нужен интеллектуальный мир героя. Надо, чтобы актер вжился в характер, и тогда произойдет преображение, тогда горбун и тот блестяще сыграет героя-любовника.

Алексей Николаевич был прав. Черкасов отлично исполнил роль Петра, и прежде всего потому, что до мельчайших деталей вжился в созданный Толстым характер Петра.

...В литературной среде (а точнее — в среде окололитературной) создаются порой сомнительные легенды о писателях, об их симпатиях и антипатиях.

Я часто слышал от разных лиц, будто Алексей Толстой не мог без раздражения говорить о Маяковском. Это оказалось полнейшей выдумкой.

С Владимиром Маяковским Толстой встречался редко и случайно. Но одна из встреч с поэтом ему особенно запомнилась, и о ней он рассказал. Это было за границей, в один из приездов Маяковского. Впечатление, произведенное на Толстого «детинной невиданного росту», было огромно. Рассказывая о Маяковском, Алексей Николаевич произнес слова, которые, придя от него, я сразу же занес на бумагу: «Это был прямо-таки символ. ...Символ молодой Советской России, вестник оттуда, из дому. Таким я его никогда не забуду. Понимаете: он был прекрасен». Толстой восхищенно говорил о размашистых жестах Маяковского, о его естественной и свободной манере держаться. Посмеиваясь, под влиянием зрительно четких воспоминаний, Толстой рассказывал, что Маяковский по причине инфляции дал «на чай» официанту в ресторане целую пригоршню денег. Отозвался о Маяковском как о самом влиятельном поэте нашего времени и сказал, что это «самый беспокойный революционный ум в поэзии».

И вместе с тем поэзию Маяковского он воспринимал, безусловно, ограниченно. Я ясно почувствовал это, когда на мое замечание о новаторстве Маяковского-лирика Алексей Николаевич удивленно переспросил:

— Лирика?

И, не добавив ни слова, перешел к другой теме. Это было искреннее недопонимание, но отнюдь не желание умалить или снизить значение великого поэта.

Существует и, как говорится, бытует изустно и другая «легенда», согласно которой Алексей Толстой в «Хождении по мукам» в образе Бессонова вывел Александра Блока. Хочу со слов Алексея Николаевича решительно отвергнуть эту версию.

Однажды, воспользовавшись тем, что Толстой заговорил о Блоке и упомянул, что Блок его «недолюбливал», я прямо, что называется «в лоб», спросил:

— Алексей Николаевич, скажите, Бессонов — это, по-вашему, Блок?

Толстой рассмеялся, потом ответил примерно следующее:

— Ну что вы! Конечно нет. Если бы это был Блок, то я был бы пасквилянтом. Бессонов — фигура собирательная и сборная. Он, во-первых, тип, а во-вторых, в нем собраны черты многих людей, которых я знал и наблюдал. Есть в нем, между прочим, и кое-что от Блока. Но, разумеется, не настолько, чтобы можно было говорить о пасквианстве.

А затем Алексей Николаевич хитро посмотрел на меня и заметил:

— С литератором вообще надо быть осторожным. Вот говорит с ним человек, а он его уже пишет, уже снял с него жилетку и нацепил ее на кого-то из своих героев. В старой России существовало в законодательстве понятие диффамации. Вот если подходить к литературе на основании этого понятия, то меня за одного Бессонова человек двадцать могли бы потащить в суд. Но Блок бы этого не сделал, уверяю вас.

— Опасаюсь вегетарианцев и остерегаюсь лиги трезвенников, — сказал однажды А. Н. Толстой. — Конечно, если у человека язва желудка или другая болезнь, тогда пускай себе... Но если здоровый мужик, этакий бугай, вдруг заявляет, что есть мясное греховно, или отказывается от рюмки, то этот тип мне в высшей степени подозрителен, и я думаю — только ли он ханжа, а не подлец ли он вдобавок?

И тут же Алексей Николаевич добавил:

— Но пуще всего ненавистны мне рапповцы.

Разговор происходил в конце тридцатых годов. РАПП был давно ликвидирован. Крупные писатели, некогда входившие в РАПП, прекрасно работали в полном единстве со всеми советскими литераторами. Толстой дружил с иными из них. Но тип мелкого «литчинуши», расплодившийся в рапповские времена, оставался ему ненавистным.

— Вы, может быть, думаете, что у меня на теле еще не зажили рубцы от рапповской лозы? Или что я злопамятен? Нет, не в этом дело. Я ненавижу рапповцев как тип социальный. Очень хорошо я понимаю, что литература — дело политическое и государственное, знаю, что кино — производство, что театры и издательства невозможны без того, что называется аппаратом. Но в аппарате должны быть люди чистые, любящие литературу, не капралы, а помощники. Одна паршивая рапповская овца, пробравшаяся в аппарат, и стадо испортит, и траву вокруг вытопчет, и листву сожрет.

РАПП — спасибо партии! — давно не существует, но рапповщина еще живуча. Что такое рапповщина? Ненависть к искусству, к творчеству, к интеллекту, к интеллигенции. Это разновидность махаевщины. Вот говорят, что рапповцы травили старую интеллигенцию — ну, таких, как я, старых грешников, пришедших в новый мир из древности. Ничего подобного, отнюдь не только таких. Им ненавистна всякая интеллигенция — и старая и молодая.

Я возразил Алексею Николаевичу, сказал, что он преувеличивает опасность рапповских пережитков.

— Нет, помяните мое слово, нет... Их еще немало ходит около литературы, этих прожорливых и всеядных сволочей. Это они производят сопливенького, но своего в Бальзаки. Это они готовы разорвать на клочки каждого, кто идет на творческий риск. Конечно, преувеличивать не нужно. Время их прошло и сроки кончаются. Но они еще опасны, эти прохвосты.

Алексей Николаевич любил крепкое словцо. Но я никогда не слышал из уст его сразу столько брани, сколько обрушил он на рапповских последышей.

— Эти мерзавцы, — говорил он, — действуют то тихой сапой, то громкой демагогией, и цель у них всегда одна — душисть искусство, душисть творчество. Они обречены, — здесь раньше, там позже их обязательно разгадают и погонят ко всем чертям, ибо они вредят нашей политике,

культуре, государству. Но повозиться с ними еще придется. Помяните мое слово!

Жизнь показала, что Алексей Толстой был прав. Он был прав и в своей патриотической непримиримости и в своем патриотическом оптимизме.

...Алексей Николаевич всегда удивлял всех его знавших необыкновенной работоспособностью. Он был поистине великим тружеником.

Для меня А. Н. Толстой стал недостижимым образцом трудолюбия еще в те времена, когда человек через игру приобщается к первым навыкам работы и дисциплины. Именно в детские годы мать, обучая меня рисунку и каллиграфии, говорила в порядке назидания о том, как упорно трудятся настоящие, хорошие люди — каждый на своем участке, каждый в своем деле. Она рассказывала мне, как стоит у станка рабочий человек Полторыхин, который был добрым другом моего отца, и как затворнически работал над рукописями, начиная свой литературный путь, писатель Алексей Толстой.

Лето 1910 года мои родители провели в Эстонии, на мызе Токумбек (ныне Майдла), под одной крышей с А. Н. Толстым и его женой. Там они наблюдали, как самозабвенно трудился молодой писатель. Ничто не могло отвлечь его от работы в отведенные для нее часы. Ранним утром запирался он в своей комнате и выходил из нее разве что затем, чтобы наполнить кофейник горячим кофе. Часами сидел за столом и позволял себе отдых только во второй половине дня. Вечером снова брался за перо. В часы досуга рисовал, писал шуточные стихотворные экспромты (некоторые из них сохранились, находятся в архиве А. Толстого в Институте мировой литературы Академии наук).

— Он хоть по происхождению и граф, а очень рабочий человек, — говорила мне мать в начале двадцатых годов. — Такому упорству в достижении цели, такому самообладанию, такой любви к труду надо учиться и можно завидовать.

Граф Толстой, которого я тогда еще не знал (и о котором слышал, что он скоро приедет в наш Петроград из далекого Парижа), сливался в моем детском воображении с рабочим Полторыхиным. Они оба были людьми труда, их надо было уважать.

Потом Толстой приехал в Петроград, и мне от времени до времени доводилось его видеть. Однажды он пришел к моим родителям, и я слышал, как убежденно он говорил о величии нашей революции и Ленина, о ничтожестве и обреченности каких-то Бурцевых, Ивановичей, Милюковых, убежавших за границу из ненависти к рабочим и крестьянам. Затем отец брал меня с собой, когда изредка ездил к Алексею Николаевичу. А затем наступили мои студенческие годы, пришло — далеко еще не полное — понимание того, какой замечательный писатель Толстой, были прочитаны «Детство Никиты», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Сестры» и «Восемнадцатый год», были пережиты как значительные события театра «Бунт машин», «Делец», «Заговор императрицы», «Азеф» и другие пьесы Толстого. И, наконец, попал я в «тайное тайных» — в рабочий кабинет Алексея Николаевича — и мог воочию убедиться, что такое настоящая дисциплина литературного труда.

Да, он был работником. Часами сидел он за пишущей машинкой, обращаясь изредка к листкам с беглыми записями, нанесенными на бумагу ясным, отчетливым почерком. Во время работы Толстой был недосыгаем, для него ничего не существовало, кроме труда.

Алексей Николаевич не любил писать карандашом или пером, которое надо макать в чернильницу. Он собирал именные перья, их у него была целая коллекция.

— Кофе, крепкий чай — это тонизирует, бодрит, это нужно для умственного труда. Трубку я привык посасывать за работой, — зажгу, затянусь, и пускай гаснет. Потом еще затяжка, одна, другая... За работой голова должна быть ясная. Ни глотка спиртного. Ничего чрезмерно возбуждающего.

Если вы хотите, чтобы в голове было светло, — посмеиваясь, приговаривал Алексей Николаевич, — думайте о своем желудке. Да, да, именно о желудке... Очищайте его перед работой, еще лучше — накануне, перед сном. Я писал об этом в специальной статье о писательском труде. В ответ меня дико изругали разные ханжи и болваны. А я повторяю: очищайте желудок! Без этого голова дурная, мозги вялые. И вы — плохой работник.

Впрочем, — и тут Толстой захохотал веселым, отрывистым смехом, — средство это, конечно, не универсальное.

Вот один драматург совсем помешался: раз в неделю глотает английскую соль, клизму за клизмой гонит. А пьесы — дрянные.

Толстой всегда был озабочен тем, чтобы наилучшим образом организовать условия труда.

— Пишущая машинка должна быть в образцовом порядке, производить как можно меньше шума. Никаких отвлекающих шумов!.. Боритесь с головными болями — это страшнейшая из помех. Что? У вас головные боли? Послушайте, я свезу вас в Военно-медицинскую академию, у меня там знакомый врач. Пять-семь сеансов облучения — и все пройдет. Полная ясность мысли, никаких головных болей! А потом, дружок, проверили ли вы желудок? Это сильнейший источник головных болей.

Он заботился о том, чтобы его опыт организации труда служил и другим.

* * *

Как-то раз, в году тридцать девятом или сороковом, я спросил Алексея Николаевича о его работе над языком, о том, как далась ему «выработка стиля».

— Трудная это была работа, — отозвался Толстой. — Была трудной и остается. Я начинал во времена, когда со словом обращались разнузданно и пошло. Манерничал, ломался Андрей Белый. Ремизов сочинял мертвые стилизации, поганил язык Северянин. Мне все это было чуждо и противно. Я учился на книгах Тургенева, Гоголя, Достоевского. Учился на фольклоре. И много сидел над словарями. Даль, Михельсон, «Толковый словарь» и «Русская мысль и речь» были моими настольными книгами.

Но не подумайте, что я занимался вылавливанием слов и словечек из этих фолиантов. Никак нет. Мертвые слова, похожие на цветы в гербариуме, меня не интересовали. Слово, каждое слово, я ощущал как живой организм, больше того — как десятки живых существ. За словом стоял жест, иногда стояло много жестов. Слово дышало, переливалось красками. Живая жизнь слова особенно поразила меня, когда я прочел книгу профессора Новомбергского — собрание судебных актов семнадцатого века. Язык этой книги был полон необычайной, драмати-

ческой насыщенности. Какие характеры, какие страсти открылись мне в слове!

Толстой сказал, что в современной нашей литературе он видит ряд замечательных знатоков языка. Шолохова он назвал прежде всего и заметил, что в языке его прозы есть нечто общее с языком поэзии Есенина. Произведения последнего Алексей Николаевич любил и знал отлично.

— Обратите внимание и на прозу Есенина,— заметил он.— Мне кажется, что стилистически она близка к некоторым страницам «Тихого Дона». Но это нужно исследовать, это дело критиков. Если же это так, то случайного тут ничего нет — у обоих один источник: язык народа, его поэзия.

Среди современных прозаиков Толстой особенно ценил как стилистов Константина Федина и Александра Фадеева. Он говорил о тургеневской манере у Федина, о толстовски плавной структуре фразы Фадеева.

Вместе с тем он видел в текущей беллетристике и языковые уродства, которые вызывали в нем чувства протеста. Эти чувства он выразил печатно, включившись в середине тридцатых годов в дискуссию о языке, которую разжег своими статьями Максим Горький.

Не любил он и выпендренную манеру, свойственную некоторым журналистам.

— Сыплют, черт бы их побрал, эпитетами,— говорил он о таких «гладкописцах». — Щедрость непомерная. Один эпитет другого звонче. А смысл всех этих слов исчезает, остается одна трескотня. Заклинания — и только.

— Писать,— резюмировал Толстой,— дьявольски трудно. У каждого писателя свои пристрастия в отборе слов. Я вот не терплю лишних эпитетов, но зато пристрастен к глаголам. Глаголы лучше всего выражают внутренний жест того или иного лица, глаголы придают динамику повествованию. Впрочем, это мое личное мнение, я его пропагандирую, но не навязываю. Каждый по-своему разбирается в алмазных россыпях языка.

...Да, выработка стиля у Алексея Толстого с самого начала была связана с живым творческим интересом к народному устно-поэтическому искусству. Интересы к фольклору, к его образности, к его отшлифованному слову, к его словесным краскам Алексей Николаевич не утрачивал никогда.

В конце тридцатых годов, будучи академиком, Толстой задумал создать на базе Академии наук СССР многотомное издание сокровищ русского фольклора. Он хотел, чтобы сначала был подготовлен «малый свод» различных жанров русской народной поэзии, охватывающий ее избранные произведения, снабженные минимальными по объему примечаниями. Параллельно, по его мысли, должен был подготавливаться «большой свод» — издание многотомное, с обстоятельными комментариями, с приложением вариантов, дополняющих основной текст.

Помню, что в связи с этим замыслом А. Н. Толстого было проведено несколько заседаний в Отделении литературы и языка Академии в Пушкинском доме. Алексей Николаевич познакомился с крупнейшими нашими фольклористами. В этих заседаниях успел еще принять участие замечательный ученый и прекраснейший человек Юрий Матвеевич Соколов, активно работал над проектами обоих сводов крупнейший фольклорист Марк Константинович Азадовский, приходил позаседать и поговорить на темы, связанные с проектом, великолепный знаток народного творчества Николай Петрович Андреев. Надо думать, что в архивах Академии наук сохранились протоколы этих заседаний, которые проводил академик А. Н. Толстой и на которых было высказано много такого, что может пригодиться и новым поколениям ученых.

Еще до того у Алексея Николаевича возник другой интересный проект коллективной научной работы, который также не был осуществлен из-за начавшейся вскоре войны. Был задуман популярный учебник по истории русской литературы, который мог бы стать и школьным пособием и книгой для народного чтения. Вокруг А. Н. Толстого сложился небольшой авторский коллектив, участниками которого были Г. А. Гуковский, В. А. Мануйлов, П. А. Корыхалов, Д. Н. Ефимов, А. Н. Нечаев, я, — возможно, и еще кто-то, о ком я запамятовал.

Об этом проекте появлялись статьи в печати, авторы активно принялись за написание порученных им глав. Алексей Николаевич внимательно читал первые варианты наших работ.

Именно в связи с несостоявшимся учебником Алексей Николаевич написал мне 1 июля 1939 года письмо, кото-

рое содержит ценные мысли о некоторых принципах сказководения.

«Дорогой Александр Львович! — прочитал я в этом отзыве. — Я прочел Вашу главу о сказке и нахожу, что это статья для журнала, но не глава для учебника.

О сказке, да еще для молодежи, нужно написать так, чтобы сказка предстала во всем ее очаровании. Не нужно исследований, не нужно цитат, не нужно оправданий.

Я считаю, что начать хорошо бы с происхождения сказки: откуда они начались, как они путешествовали по свету, как один народ передавал другому сюжеты, и тот их обрабатывал по-своему и т. д.

Нужно коснуться монгольской, корейской, персидской сказки, византийских и античных сказаний и мифов, наконец, западноевропейской сказки (пришедшей к нам через письменность).

Затем хорошо бы указать на сам склад русской сказки и на ее направленность: народ создает своего героя, народ отвоевывает свою духовную независимость, народ смеется, народ-сатирик и т. д.

Я пишу Вам лишь несколько слов об этом. Мануйлов расскажет Вам подробнее.

Ваш Алексей Толстой».

И постскрипtum: «Сказка — великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку перед нами раскрывается тысячелетняя история народа».

Я не помню, чтобы В. А. Мануйлов рассказывал мне что-то в дополнение к этому письму. Но письмо и само было исчерпывающе ясным. Я принялся перерабатывать свою главу (правда, я ее не завершил, да и учебник для молодых любителей литературы так и не состоялся), хорошо поняв, что Алексей Николаевич в своем взгляде на сказку был очень близок к Горькому, к его фольклористическим воззрениям.

Толстой был писателем, который не только черпал пригоршнями из богатства народной поэзии. Он, если можно так выразиться, жил как художник в поэтической стихии фольклора. И он много сделал для того, чтобы читатель острее прочувствовал драгоценность народного

слова. Именно в предвоенную пору, о которой я рассказываю, Толстой принялся за обработки русских народных сказок. Первоначально он работал с участием опытного фольклориста А. Н. Нечаева.

Как и Горький, Алексей Николаевич считал народное творчество неиссякаемым. Он отлично понимал, что сама жизнь, ее развитие многое изменяет в фольклоре, но верил в его бессмертие.

Толстого очень интересовали сказители, знатоки и обновители традиционных фольклорных жанров. Он любовно говорил о сказителе Коношкове:

— Ну и старик. Уже его склероз заедает. И уже самым необыкновенным образом путаются в его рассказе разные мотивы, лбами сшибаются друг с другом. Но зато — какой язык, какой напев... Бог мой, какая радость его слушать!

Чутко прислушивался Толстой к разного рода народным рассказам, к народным словесам и словечкам, к искоркам юмора в народной речи. Какой-то пьяница пожаловался ему, что «дошел до ручки» из-за того, что баба-буфетчица выдала ему вместо закуски черствую булочку. В этой булочке, а не в обильной выпивке, усмотрел он причину того, что угодил в вырезвитель. «Сволочь булочка», — жаловался пьянчуга.

— Ай, сволочь булочка! — хохотал Толстой, картинно изображая пьяницу, объяснявшегося с милиционером. — Ну до чего же метко!

И раза два сказал при мне каким-то людям, прибегавшим к пустым оправданиям:

— Понимаю, сволочь булочка подвела.

...Алексей Николаевич, как известно, неоднократно бывал за границей, некоторое время жил за рубежом — во Франции, в Германии. Однако иностранными языками он не владел, хотя и понимал речь иностранцев и без труда ориентировался в иностранных журналах, газетах, книгах.

— Я сознательно отказываюсь от активного владения чужими языками, — объяснял он мне. — Писатель должен жить в стихии родной речи, не выключаться из нее. Такая уж у писателя особая судьба. Ученому иностранные языки необходимы, инженеру, журналисту — также. А писателю могут повредить.

И Толстой, чтобы подкрепить свою точку зрения, ссы-
лался на пример Горького, который, долго живя в Ита-
лии, так и не овладел итальянским языком.

— Нельзя писателю, — повторял он, — выходить из
родной стихии, из сферы родного языка.

Такая позиция не мешала, однако, Алексею Николае-
вичу быть отличным знатоком зарубежных литератур.
Пристально и внимательно следил он за творчеством ряда
выдающихся своих современников.

Он очень уважал Роллана, говорил о нем не только
как о писателе, но и как о проникновенном ценителе му-
зыки. Толстого радовало любовное отношение Роллана
к его книгам.

Помню, как Алексей Николаевич восторженно отзы-
вался о мастерстве Томаса Манна, о его «Будденброках»,
о «Волшебной горе». Прочитав в переводе «Успех» и
«Семью Оппенгейм» Фейхтвангера, он весьма положи-
тельно оценил эти романы.

— Это крупнейший реалист из современных нем-
цев, — говорил Толстой. — Этот Фейхтвангер поразительно
ярко пишет женские образы. Он великолепно знает интел-
лигенцию. Он вводит нас в мир своих героев так умно и
так естественно, что вы уже не можете вырваться из это-
го мира, пока не дочитаете книгу.

Надо сказать, однако, что другие произведения Фейхт-
вангера, появившиеся на русском языке, сильно разоча-
ровали Толстого. Ни «Безобразная герцогиня», ни «Лже-
Нерон» его не увлекли. Он остался холоден к этим рома-
нам, отзывался о них кратко и скептически.

Во второй половине тридцатых годов все чаще дохо-
дили до нас вести о трагических судьбах ряда немецких
писателей-антифашистов, погибавших в неравной борьбе
с гитлеровскими погромщиками. С творчеством некоторых
из этих писателей Толстой был знаком, их гибель вызы-
вала в нем чувства горечи и гнева.

Известие о самоубийстве Курта Тухольского его по-
разило.

— Как обидно, что не выдержал, покончил с собой.
Блестящий был талант. Все ему давалось — и сатира и
лирика. Этот человек мог стать новым Гейне — Гейне
двадцатого века.

Гибель Вальтера Газенклевера, который предпочел

смерть концентрационному лагерю, также глубоко потрясла Толстого, лет за десять до этого обработавшего для русской сцены пьесу этого драматурга «Делец».

— А ведь какой веселый был талант! — с грустью говорил Алексей Николаевич. — И так ужасно погиб. Мне рассказывали, что он повесился на галстук в каком-то вонючем бараке.

В 1937 году Толстой виделся в Лондоне со Стефаном Цвейгом. Этого писателя, бежавшего от гитлеровцев из своей родной Вены, Толстой считал выдающимся мастером, знатоком психологии, «акварелистом в слове».

— Конечно, — говорил Толстой, — он большой художник, хотя и навсегда ушиблен Фрейдом, хорошим врачом и поганим философом.

Встреча с Цвейгом оставила у Толстого безрадостное впечатление.

— Растерян Цвейг, растерян и подавлен всем происшедшим. Такие, как он, бороться не могут. А для победы нужны борцы. У тех же немцев есть среди писателей настоящие люди. Я наблюдал их на различных конгрессах, — невеселый у них вид, да и веселиться им нечему. Но у них есть вера в будущее, а у Цвейга ее уже нет. А без этой веры фашизма не победить.

* * *

— ...победить фашизм!

— ...разгромить фашизм!

— ...уничтожить фашизм!

Эти слова все чаще и чаще произносил в тридцатых годах Алексей Толстой.

Он отлично знал природу фашизма. Он видел, как вырастал фашизм в двадцатых годах, как разросся в кровавое чудовище после гитлеровского «переворота» в Германии.

— Война, — говорил Толстой, — неотвратима. Пока есть фашизм — мира не будет.

— Надо знать Европу, — утверждал он. — Надо ее знать, чтобы понять размеры грозящей опасности. Если вы не видели фашиста, вы не сумеете его вообразить.

И далее следовало афористически точное определение:

— Фашист --- это преступник, выпущенный из тюрьмы и мечтающий стать тюремщиком мира.

— Запад преступен,— сказал мне в другой раз Толстой.— Все пущено в ход против масс — и железные намордники, и подкуп, и натравливание. Всем заправляют преступники... Хотите портрет?.. Вот слушайте. В Париже в ресторане пляшет этакий субъект. Иссинья-черные волосы взбиты на манер дамской прически, выбритая морда густо запудрена, на щеке — мушка, губы подведены, спина декольтирована, мясистые пальцы утыканы перстнями, платье дамское — тяжелого синего бархата. Пляшет, сволочь, притопывает резными каблучками. Кто бы, вы думали, это? Миллионер, патологическая дрянь, развратник. И, разумеется, политический делец. Поддерживает де ла Рокка, оплачивает фашизм, погромы, войну... Символическая, знаете ли, персона.

В своих поездках за рубеж Толстой накапливал великий гнев антифашиста, ненависть к реакции, готовившей вторую мировую войну. Но у Толстого не было и намека на страх перед фашизмом.

— Их не надо бояться. Они — обреченные... Погибнут они, вот увидите. Бросятся на людей, как бешеные псы. Но люди сильнее, разум и сила на стороне людей.

— Никогда,— продолжал Алексей Николаевич,— так не чувствуешь силу советского человека, растущую силу отечества, как при возвращении оттуда.

А написав пьесу «Чертов мост», прочитав ее в кругу своих ленинградских друзей, Толстой заметил:

— Цель этой вещицы — еще и еще раз сказать, что фашистов не надо страшиться. Их породил преступный мир, но он породил их для авантюр, которые никогда добром не кончаются.

Однажды в 1940 году Алексей Николаевич предложил мне побродить с ним в окрестностях его дачи. Вышли мы на шоссе. День был хмурый, по небу тянулись свинцово-серые облака. Говорили мы о том о сем, переходя от темы к теме. О Куприне говорили и о Бунине, о Пятой симфонии Шостаковича и про то, что нужно действительно взяться за «большой свод» фольклора.

Вдруг Толстой остановился, заложил руки за спину, взглянул на облака и сказал:

— Ишь какие мрачные... С запада... Вот-вот прольют-

ся. Ну ничего. Главное — спокойствие. С запада уже давно грозят.

На обратном пути Алексей Николаевич с иронией отзывался о тех литераторах, которые — «сослепу, что ли» — не видят военной опасности. Он говорил, что фашизм не может не воевать, но кончит он на Западе виселицей, на Востоке — харакири.

— Нам, — заметил Толстой, — предстоят трудные времена. Но народ у нас золотой. Он стоит за Россию.

* * *

Предчувствия не обманули Толстого: через год разразилась война. В пору великих испытаний, обрушившихся на советских людей, писатель всем сердцем служил родному народу, боролся за дело победы.

Мне не пришлось уже встречаться с Алексеем Николаевичем.

22 июня 1941 года я вступил в ряды нашей армии. Отвоевался я, когда Толстого уже не было в живых.

Но и в годы войны мыслями я часто бывал с Алексеем Николаевичем. С благодарностью и любовью думал я о нем, так вдохновенно творившем в эти нелегкие и героические времена.

Помнится, в дни, когда враг угрожал нашей столице, поздней осенью 1941 года, в полку на Карельском перешейке агитатор читал бойцам перед строем статью Толстого «Кровь народа». Люди стояли молча, охваченные глубоким душевным волнением. Волновался и агитатор, голос его то срывался, то возвышался до крика. Чувствовалось, что от слов Толстого, ясных и веских, каждому бойцу становилось легче на душе, ибо каждый из нас верил писателю, утверждавшему, что поход Гитлера «на Москву закончится великой всенародной победой».

А когда агитатор дочитал статью, я услышал, как пожилой солдат с характерным псковским выговором сказал другому, молоденькому и голубоглазому, что Москву, видно, и впрямь отстоят и что «Толстой пишет крепко и доказательно».

В тот же вечер я отослал полевой почте письмо Алексею Николаевичу, рассказал ему о любви народа к своему писателю.